

Семилетняя бойня... Как раз через семь лет он сгинет, как песчинка, в лагерном бараке чумного председателя...
... и желтоглазый гон
Его когтей, летящих исподлобья...

Я говорю за всех с такою силой,
Чтоб небо стало небом, чтобы губы
Потрескались, как розовая глина...
Осип Мандельштам знает, что его ждёт, и прощается:

Я тебя никогда не увижу,
Близорукое армянское небо...
Петербург! Я ещё не хочу умирать...

Пастернак:
И рифма не вторенье строк,
А гардеробный номерок,
Талон на место у колонн
В загробный гул корней и лон...

Мандельштам отвечает:
Ночь на дворе. Барская лжа:
После меня хоть потоп.

Что же потом? Хрип горожан
И толкотня в гардероб.

Бал-маскарад. Век-волкодав.
Так затверди ж назубок:

Шапку в рукав, шапкой в рукав —
И да хранит тебя Бог.

Начинаются волчи, каторжные стихи:

Наступает глухота научья...
Здесь провал сильнее наших сил...
Я трамвайная вишенка
страшной поры...

И казнями там имениты дни...
Я с дымящей лучиной вхожу
К шестипалой неправде в избу...

Он всё знает про Сталина: и то, что рябой, и то, что у него шесть пальцев на ноге. Наверное, от Бухарина узнал. Тот ведь был близок к Сталину. Квартирами с ним поменялись. Однажды шапки перепутали. Сталин с трибуны грозит пальцем партсъезду: «Крови Бухарина хотите? Не будет вам крови Бухарина». Это и была «шестипалая неправда».

Видение Второй речки пришло Мандельштаму:

Дальше — ещё не припомню —
и дальше как будто оборвано:
Пахнет немного смолою да,
кажется,
тухлую ворванью...

У Ахматовой «свежий запах дёгтя» — из приморского детства, а он ги-

бель свою ощутил, запах смерти — тухлой ворвани.

Но это далеко — дым и туман, а пока он сдерживает себя:

Холодным шагом выйдем
на дорожку —

Я сохранил дистанцию мою...

Впереди каменный, кремнистый путь...

А мог бы жизнь просвистать
цеглом,

Заесть ореховым пирогом,
Да видно нельзя никак...

С Анной Ахматовой они хохотали, и Надя шикала на них: «Цыц, не могу жить с попугаями». Это был «ржакт» — от слова «ржать».

Стихи лежат в жёлтом заграничном сундучке. Не печатают — не беда; главное — стихи пишутся! В чужом доме на лестнице кричал: «А Будда печатался? А Христос печатался?»

Бухарин опять помог: в январе 1932 года Осипу дали комнату в Доме Герцена, на этот раз в правом флигеле.

На вечере в Ленинграде, когда его спросили о современных поэтах, сказал: «Чего вы ждёте от меня? Какого ответа? Я друг моих друзей! Я современник Ахматовой!»

В Политехническом этот странный человек выскочил из-за кулис с криком: «Маяковский — точильный камень русской поэзии!» — и убежал.

Совсем по-другому читал он теперь свои стихи — не пел, а монотонно скандировал, глотая окончания строк. Он уверен в себе, движения его точны.

А в «Правде» уже появилась разгромная статья о его «Путешествии по Армении». Но он уже идёт «холодным шагом» по лермонтовской дороге.

... Власть отвратительна,
как руки брэдоброя...

Потом появилась своя квартира — в Нащокинском переулке. Благодетелем, конечно, был Бухарин. А Мандельштаму эта квартира казалась платой за молчание о том, что он видел, о голоде...

Природа своего не узнаёт лица,
И тени страшные Украины
и Кубани —

На войлочной земле голодные
крестьяне
Калитку стерегут, не трогая
кольца...

Пастернак ёжился, он побаивался Осипа Эмильевича. Убеждал его:

— Раз вышел «Шум времени», значит, есть все данные для романа, пора приступать...

— Для того чтобы написать роман, нужны, по крайней мере, десятины Толстого или каторга Достоевского.

Не пишется «Фагот». Осип не принял пастернаковского вращающегося в новую жизнь. Ему не нужен «талон на место у колонн», не нужен «гардеробный номерок»:

Мне на плечи кидается век-волкодав.
Но не волк я по крови своей:
Запихай меня лучше, как шапку,
в рукав

Жаркой шубы сибирских степей...

Теперь у них своя квартира, тёплые батареи:

А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребёнке
Обязан кому-то играть...

Вечером стихи написаны, а утром он прибежал к Боре Кузину: «О Сталине написал!» Дал слово никому больше не читать. Но через два дня вечером он шёл с Пастернаком по Тверской-Ямской и не выдержал — прочитал:

Мы живём, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов
не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского
горца...

Борис Леонидович в ужасе. Он не понимал Осипа. Ведь надежда всё-таки есть, опять пошла волна либерализации. Надо создавать «душу советского общества». А то, что делает Осип Эмильевич, — это не литература, а самоубийство.

Быть заодно с правопорядком...

А Мандельштам шёл против правопорядка:

Ты, могила,
Не смей учить горбатого — молчи!